



В. Н. ИЛЬИН

Эссе о русской культуре

<Фрагмент>

Этюд II. Достоевский и Гоголь

Посвящается о. Александру Ельчанинову

Страдание есть показатель глубины.
Н. А. Бердяев

<...>

Россия, несомненно, представляет величайшую загадку. Загадка эта страшна. «Страшна, потому что неопределима и определить нельзя», — скажем словами Достоевского. Россия — тайна, недоступная логическому «эвклидову» уму. И наряду с мистической таинственностью Россия какой-то очень важной гранью своего духовного стиля отличается рассудочностью, «рассуждальчеством», всеразлагающим анализом — и весьма падка на эти соблазны, приходящие как изнутри, так и извне. Россия и русские люди резонерствуют, философствуют, как никто в мире. «Тут все берега сходятся и все противоречия вместе живут» (Достоевский).

Европейцы знают это совмещение противоположностей, эту *coincidentia oppositorum**, Николая Кузанского — лишь за письменным столом и в философских системах. Но Россия и ее пророк и выразитель, Достоевский, знают трагедию противоречий на деле. Их философия — это философия крови и духа!

* Совпадение противоположностей.

Россия — сфинкс. И она принуждает отгадать себя, — грозя в противном случае испепелить и погубить весь мир. В этом смысле Россия великолепно символизируется трагическими героинями романов Достоевского. Ныне эта угроза стала вполне реальной и реализуемой. Россия — все, что угодно, но только не ничтожество, которое можно сбросить со счетов. Она заставляет прислушиваться к себе.

Без любви загадка эта не отгадываема. Но любить Россию — дело трудное, мучительное и ответственное. Любовь вообще трудна и мучительна, а любовь к России — подавно. Россия — неблагодарна к тем, кто ее любит, и часто воздаёт злом за добро.

Россия, повторяем, целый мир, космос, — не только космос, но и хаос, она — хаокосмос.

Для того чтобы разрешить задачу «большого мира», «макрокосма», надо увидеть, узреть его отраженным в «малом мире» — в «микрокосме», куда, как в фокусе, собираются все лучи «большого мира», — светлые и темные.

Таким микрокосмом является гений, в котором всечеловеческое отражается через национальное.

Гений есть существо демоническое, или, вернее, даймоническое: он рождает и творит даймонов — демонов, свои образы; он излучает Эрос-любовь; он дает им начало и сам есть в известном смысле «начало», «принцип»; он создает своих вдохновителей и вдохновительниц и ими же вдохновляется. Сколько полубытийных ничтожеств получило благодаря гению свое истинное бытие и стали его вдохновителями, его творческим роком!

Но гений, существо богоподобное, «творец ангелов и духов», сам, кроме того, является тварным ангелоподобным «даймоническим» существом. И через творчество гения мы понимаем смелое утверждение св. Григория Нисского, что ангелы могут размножаться. Образы, творимые гением, и суть такие размножаемые ангелы — даймоны. Они имеют свое отдельное, самостоятельное бытие и «витают в воздухе». Дух гения по природе андрогин — мужеженское существо. Поэтому он творец мужских и женских духов-образов. В гении совмещены мужское божество Порос (богатство) и женское Пеня (бедность). Они зачинают и рожают в нем страшного, всемогущего, противоречивого даймона — Эроса. Этот полубог есть двойник всякой гениальности. Он вдохновляется, но он же вдохновляет, т. е. вдвухает дыхание жизни в творимые им образы, или же вторично рождает прежде рожденных, своих полуреальных вдохновителей и вдохновительниц, страшно, демонически рождает их, иногда на погибель им и себе.

Твоей святыни не нарушит
Поэта чистая рука,
Но ненароком жизнь задушит
Иль унесет за облака.

(Тютчев Ф.)

Речь идет, конечно, о настоящих поэтах, а не о самозваных ничтожествах.

Гений, хотя существо богоподобное, «творец ангелов и духов», сам существо сотворенное, падшее и по человечеству — раздвоенное. Он родит свет и тьму по образу почвы, из которой сам возник. Это все касается и русских гениев — их в особенности, ибо на челе России лежит печать демонической гениальности преимущественно. Оттого она — не понята, непонятна и одинока — какова вообще судьба гения. Ибо гений — царь в пустыне и царь пустыни.

Гений — и гениальная Россия — стоят лицом к лицу с бездной свободы, в трагической раздвоенности света и тьмы.

Свет России отразился на Пушкине, ее тьма сосредоточилась в Гоголе. Но антитеза Пушкина и Гоголя требует своего синтеза, своей разгадки. Синтез ведь всегда есть и разгадка.

И вот во второй половине XIX века расцветает творчество одного из величайших гениев всех времен и народов — Федора Достоевского. Он отгадал загадку Пушкина и с ним — загадку русского призвания, русской культуры — как культуры всечеловеческой, пророческой и мессианской по преимуществу.

Но, кроме того, сам Достоевский воспринял еще тяжелую и мучительную прививку русской тьмы. Он воспринял страшное наследие Гоголя. Но не пал в изнеможении, подобно творцу «Мертвых душ», не растаял и не изошел в сладкозвучной, упительной и ядовитой лирике подобно автору стихов о «Прекрасной Даме» А. Блоку. Но переплавил и свет Пушкина и тьму Гоголя в добела раскаленном, страстном огне своих трагических откровений. Он ушел в вечность, препоясавшись мечом великой идеи, подобно мужу.

Мучительные черно-красные тени легли на испепеленном страстью и страданиями лице Достоевского — легли вместе с отсветами того костра, в котором сгорел Гоголь со вторым томом «Мертвых душ» и Блок со своими «Двенадцатью». И это — часть всероссийского эсхатологического и апокалипсического костра, зажженного «всегдашней, неутолимой потребностью страдания».

Загадка страдания — непреодоленного у Гоголя, преодоленного у Достоевского — является также загадкой страдальческой, трагической истории России.

Страдания — обратная сторона греха, грехопадения или же его следствие. Согрешивший человек является данником страданий. Безгрешный Богочеловек сострадает и свободно берет это иго на себя. Мировая драма грехопадения, греха, порчи, связанности, одержимости грехом — вот главная тема Гоголя и Достоевского. Зло, понимаемое как грех — есть христианская философия греха. Поэтому можно сказать, что Гоголь и Достоевский — мученики и оброчники христианской мудрости по преимуществу.

Достоевский, несомненно, одной, очень важной стороной своего существа вышел из Гоголя. И основная тема у них одна: падший и страждущий человек, ставший спиной к Богу или к раю. Только у Гоголя — ужас утраченной свободы, ужас магической завороченности грехом и разложением, что видно в «Вечерах», в «Миргороде», в «Мертвых душах». У Гоголя все статично, все застыло и окаменело, словно от смертоносного взора Вяя. У Достоевского наблюдается другой подход к теме греха. Тема Достоевского — мощное трагическое движение, динамика в направлении к преодолению противоречий, ужасов распада и соблазнов пессимизма. Достоевский преодолевает искушение распада и пессимизма через философию трагедии свободы и трагическую философию свободы. Поэтому у него основная тема грехопадения оборачивается как тема свободы, чего мы не видим у Гоголя. Гибель Петруся, колдуна, Хомы Брута, распад Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, разложение Хлестакова, Чичикова и других в серое, мелкобездонное «ничто» убивает и наши души. Гибель Раскольников, Ставрогина, Кириллова, Ивана Карамзова «светоносно для нас» — по выражению Н. А. Бердяева*. Эти трагедии вызывают настоящий христианский катарсис (очищение). Античная трагедия Рока заменяется здесь христианской трагедией свободы**. Вместе с центральной темой свободы у Достоевского выступают сопутствующие ей и с ней связанные темы последних свершений — темы эсхатологические: смерти, суда,

* «Миросозерцание Достоевского». Исключение представляет, пожалуй, только один невыразимо страшный «Бобок», но это уже в совершенно ином плане.

** В этом смысле трагические мотивы Тургенева и Чайковского — этих типичных представителей великой русской дворянской культуры — суть не христианские, хотя и в неоромантическом обличье. Об этом у нас будет особый этюд.

загробного пути, вечности — что хотя и намечено у Гоголя (особенно в «Страшной мести»), — но не в таких размерах и почти без философского подхода.

Жизнь обоих — Гоголя и Достоевского — катастрофична, но по-разному. Гений вообще есть крест*, в противоположность легкому, привольному «поживанию» талантов и талантиков. И безмерно тяжки кресты Гоголя и Достоевского. Однако Гоголь пал сломленный и раздавленный. Достоевский победил. У Гоголя — каторжный страх вечной гибели, странное, страшное влечение к безобразию, испепеленный, черный антиэрос, адские видения, прирождения ведьминой природы; у Достоевского ужасы реальной каторги, тягостные, пророческие прозрения, падучая болезнь, жесточайшая внутренняя борьба с «Содомом» за «Мадонну». У обоих терзание над судьбою павшего человека, над его обезображенным ликом. Но Гоголь не мог найти жалости ни для себя, ни для павшего. Дар сострадательной любви, так же как и дар любви женской — были отняты от него. Достоевский истерзался, жалея замученного ребенка и его неискупленных слез — и вкусил от чаши женского Эроса, чтобы убедиться, сколько в ней горечи, ужасов и яду. Но безудержное, иступленное сострадание так же, как и безудержное, иступленное сладострастие, одинаково катастрофичны и смертельно опасны для личности, взрывая ее изнутри.

Наконец, оба — и Гоголь и Достоевский — тяготели к положительной церковной религиозности, оба были в Церкви. Но Достоевский прошел через горнило диалектики веры и неверия, и ему открылся лик Христовой любви. Гоголь, по-видимому, не знал философской драмы, которая именуется завоеванием веры, но зато не познал и благодати всепрощения Христова.

Ужасен их творческий и жизненный путь, и про обоих можно сказать словами ап. Павла: «Страшно впасть в руки Бога Живого», — и про Гоголя, пожалуй, в большей степени. В такой степени, что руки опускаются и голова никнет перед этим зрелищем ада на земле.

Одна из самых тяжелых, мучительных особенностей личной судьбы и творчества Гоголя та, что в нем черный антиэрос проклятой безлюбовной смерти (в противоположность белому Эросу благословенной любовной смерти) «одушевлял художественный аппарат почти беспредельной силы»**. Гарпии-вдохновительни-

* Крест гениальности особенно чувствуется в жизни и творчестве величайшего мирового гения музыки Людвига ван Бетховена.

** Мы полагаем, что с формальной точки зрения Гоголь является самым сильным художественным гением русской литературы.

цы*, прилетавшие к Гоголю, не только мешали ему «есть» — вкушать от плодов мира, как мифологическому Финею, но и сами были при этом отвратительно безобразны. Гоголь вдохновлялся их безобразием и ел испорченную их погадками свою страшную пищу, ел — и горел в черном, ледяном пламени геенны.

Nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo.

(Dante. «Inferno», III)

Была и реальная «Гарпия» — о. Матвей Ржевский, которого он, однако, сам выбрал себе в духовники и в «старцы».

Безобразие и антиэрос безобразия — это разрушители бытия, и в нем самого главного и прекрасного — личности. Поэтому трагедия Гоголя, в которой сплелись биография и объективное творчество, есть разрушение личности антиэросом безобразия. А там, где он побеждает и создает красоту — эта красота мертвая, она не одушевлена, не оживотворена Эросом, но, наоборот, заморожена и заморожена тем же антиэросом. Можно даже сказать, что формальная красота у Гоголя была мертва, а безобразие «одушевлялось». Впрочем, «красивое» и «безобразное» были у Гоголя как бы одной и той же панночкой-ведьмой из «Вия», одновременно ослепительной красавицей и омерзительной старухой.

Эта повесть о панночке (в «Вие») есть повесть о душе и творчестве самого Гоголя. «Рубины ее уст прикипали кровью к самому сердцу», — такова и магия художества самого Гоголя.

Сущность ведьмы — это голая, холодная, бесстрастная похоть. Здесь предел развращенности. Очень хорошо отметил Мехов в своей «Ариадне», что холод и развращенность идут рука об руку. Но с особенной силой показал это Достоевский на образах Свидригайлова, Ставрогина и старика Карамазова. Холод («окамененное нечувствие») означает не только отсутствие интереса к духовным ценностям, но даже отрицательный интерес к ним, т. е. войну, вражду.

Гоголь хоронил мертвецов и замораживал красоту мира, не достойного этой красоты. И сам умирал, и сам себя хоронил.

Неисповедимыми путями Провидения, попущением свыше, ведьма поднесла Гоголю чашу «холодного огня», и он мог сказать про себя:

* Глубокое, научно-мифологическое и интуитивно-умозрительное проникновение в мифологический образ Гарпий дан в блестящем этюде о. Павла Флоренского «Не восхищение непщева». Сергиев Посад, 1915 год.

Так, смеясь над чашей яда,
Злая ведьма шепчет мне,
Что бессмертная отрада
Есть в отравленном огне.

(Сологуб Ф.)

И вот ведьма-панночка, демоническое создание его демонического гения, выговаривает в церкви «мертвыми устами страшные слова»... они «хрипло всхлипывали, подобно клокотанию кипящей смолы»... «ветер пошел по церкви от слов»... «иконы попадали на землю». А от колдовства отца Катерины в «Страшной мести» — «вместо образов выглядывают страшные лица». Эта трансформация образов — как бы победа над ними злой силы, и вихрь, в котором прилетают гномы — адские чудовища — не только литературный прием, но какая-то страшная символическая реальность, в которой литература и жизнь неотделимы. Это символ искаженных грехом образов мира-бытия, греховная проказа бытия. На многострадального Иова тоже ведь попустительством свыше пришли из пустыни злые силы, вихрь и проказа.

Элифас Леви (Eliphas Levi), авторитетный знаток магии, говорит о холодном вихре, поднимающемся от черного волхования. Позитивный ученый с мировым именем Шарль Ришэ пишет в своем «Трактате о метапсихике» о ледяном дуновении перед появлением призрака. Все это предвестники могильного холода и «того, кто имеет державу смерти, то есть дьявола».

Гоголь был заморожен ледяными вихрями из страшных подвалов и адских подполий, и сам стал «поражать змеиным ядом неразумные цветы». Он «мертвым взором посмотрел на действительность», по выражению В. В. Розанова — и она застыла в «восковые куклы». Он поразил детей, «цветы земли», и «посмеялся над теми, над кем никто не смеется», по словам того же Розанова.

И нет «Вия» страшнее духовника Гоголя, о. Матвея Ржевского, с его характерным презрением к богословию, философии и искусству. Самое страшное и горькое, что только можно себе представить, сбылось над Гоголем. К смертному одру великого страдальца под видом духовника пришел Вий.

Был, конечно, и свет, как в жизни, так и в творчестве Гоголя — об этом свидетельствуют многие места «Размышления о Божественной литургии», «Переписки», «Арабесок» и др. Но этот свет далеко не играл по силе и значительности роли антитезиса тьмы. У Гоголя в его творчестве своего рода монолог зла и тьмы.

Поэтому у него не драма, не трагедия, но раскрытая пропасть гибели, смертоносная глубина, поистине «Страшная месть».

Не таков Достоевский. И хотя в переживании и в созерцании падшего, униженного и одержимого человека Достоевский исходил главным образом из Гоголя, но человек у него не просто череп, он раздвоен. Об этой трагической раздвоенности поведал впервые миру с небывалой силой Гёте устами своего «Фауста»:

Ах, две души живут в груди моей,
Друг другу чуждые — и жаждут разделенья.

В чем эта двойственность, с точки зрения трагедии христианского самосознания — показано Тютчевым:

О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..
Так, ты жилица двух миров,
Твой день — болезненный и страстный,
Твой сон — пророчески неясный,
Как откровение духов...
Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые —
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть*.

Это гениальное по тонкости и потрясающее по силе стихотворение может служить эпиграфом ко всему творчеству Достоевского: бурное волнение страстей, мудрость пророческой философии и свободное стремление ко Христу. Отсюда диалектика, роман-трагедия. Но отсюда и преодоление пессимизма, выход из него. Из тьмы светит свет. Этот свет есть одновременно плод трагического катарсиса и вечное сияние Вифлеемской звезды. И полно глубокого смысла, что Н. А. Бердяев выбрал в качестве эпиграфа к своей блестящей книге о Достоевском текст Евангелия от Иоанна: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

Трагическое творчество Достоевского в существе своем отражает трагедию христианства в мире. Можно сказать, что творчество автора «Братьев Карамазовых» одноименно — «тезоимени-

* Ф. И. Тютчев. «О вещая душа моя...». 1855.

то» мытарствам христианской идеи. А так как Достоевский «был до глубины русский человек и русский писатель» и «по нему можно разгадывать русскую душу»*, — то отсюда выясняется глубинный смысл русского христианина, русского крестоношения и того, что русский человек является богоносцем или, точнее, христоносцем в совершенно особом смысле.

Теперь принято издеваться в пошло обывательском стиле над этим атрибутом русского народа и одновременно над Достоевским, будто бы не предусмотревшим того безобразия и богоборчества, до которого дойдет русский народ (он только и делал, что предусматривал это!). Все это показатель крайне поверхностного и плоского отношения к теме. Богоношение есть ужас («Я есмь огонь поядающий») — и быть христианским народом по преимуществу — значит пройти все перипетии крестных мытарств — вплоть до богооставленности и схождения во ад. Быть богоизбранным значит быть богооставленным — в этом страшная парадоксия христианской свободы. Господь Иисус Христос принес не «мир, но разделение» — и прежде всего разделение красоты и безобразия, света и тьмы и, главное — разделение свободы и рабства. Разделение это прошло не только между людьми, но и в духе одного и того же человека, в глубинах его личности, ибо личность соборна. Всякое «я» есть в то же время «мы». С явлением Христа смешение и безразличное совмещение этих начал становится невозможным. Они противостоят друг другу и приходят в состояние бурной трагической динамики и борьбы. А про тех, у кого этой борьбы огня и льда нет, кто «ни горяч, ни холоден», но «тепел», про тех Христос говорит: «извергну тебя из уст Моих», т. е. такой перестает быть христианином или же является им в очень малой степени. Ему грозит опасность стать ничтожеством для вечности. На кого упал луч Вифлеемской звезды, тот уже успокоиться не сможет иначе, как «вечным покоем», приходящим в качестве катарсиса (очищения), после трагической борьбы до конца.

Свет Христов не только «просвещает всех», но и открывает в глубинах нашего духа страшные язвы, гноящиеся струпы, копошащихся гадов, которые без этого были бы незаметны, хотя их ужасное действие только бы безмерно возросло от этой незаметности. Самый страшный враг — это враг незаметный. Свет Христов вскрывает язвы, и он же их врачует. Но перестрадать необходимо, иначе не явится Дух Утешитель.

* Выражение эти принадлежат Н. А. Бердяеву (в уже цитированной книге «Мировоззрение Достоевского»).

Христианство есть величайшая мировая идея творящего и воплощенного Логоса. Эта идея лежит в основе бытия, она есть извечное первоначало, премудрость, творящая мир.

Новый Завет бесконечно древнее Ветхого.

Раз мы произносим: «Вначале было Слово», — мы этим самым утверждаем изначальность, надмирность и премирность христианской философии. И уже после этого мы произносим: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Скрытая от замутненных грехом очей падшего человека христианская идея все же продолжает сверкать среди черной ночи «огнями ветхозаветных упований»*, и, наконец, является миру как «Солнце Правды» — Воплощенное Слово, символизируемое идеей Вифлеемской звезды.

Эта звезда есть звезда свободы и любви. Этим идеям, проповеданным в Гефсимании и на Голгофе, противостоят черные антиидеи, — лжеидеи рабства и ненависти. Душе, свободно парящей на крыльях любви, на крыльях огнепламенующей чистоты, противостоит ее греховный «безобраз» — копошащаяся в низинах «душа паука» с ее злостью и холодным сладострастием. В страшных страданиях от этого раздвоения пробуждается сознание и осознает свою погруженность в греховный мрак:

Пестреет мгла, блуждают очи,
Кровавый призрак в них глядит,
И тем ужасней сумрак ночи,
Чем ярче факел мой горит.

(Фет А.)

«Страдание — причина сознания»**. В этих трех словах Достоевского явлено одно из величайших открытий мировой мысли. Страдание пробуждает сознание, и в сознании возникает извечная идея свободы. Так преодолевается пессимизм.

Таковы основные идеи Достоевского. Они во множестве промежуточных вариантов, комбинаций, воплощений, перевоплощений и диалектических конфликтов составляют грандиозный сонм тех действующих лиц, которые именуются героями романов Достоевского. Достоевский, конечно, есть «национальный философ России», — совершенно верно замечает А. З. Штейнберг в своей превосходной книге «Система свободы Достоевского». Но, кроме того, Достоевский вообще один из замечательных мыслителей всех времен и народов, притом он мыслитель

* Выражение о. Сергия Булгакова в «Свете Невечернем».

** См. «Записки из подполья» Достоевского.

вполне христианский, что случается и по сей день чрезвычайно редко, вернее сказать, до Достоевского в таких размерах вообще не встречалось. Бывают философы-христиане — и довольно часто, но христианской философии почти совсем не встречается. Дело ведь не только в том, чтобы употреблять христианскую церковную терминологию (хорошо, если это не только фразеология*), но чтобы поставить христианскую проблематику. Это сделал Достоевский.

Огромная заслуга Достоевского та, что он вернул философии ее достоинство, вывел ее из затхлого профессорского кабинета и показал, что она — царица и владычица мира, ибо и сам мир — лишь се одеяние и тень. Он воспринял и утвердил действительную, творящую энергию идеи и повторил подвиг Платона, но на основе динамики христианской свободы. Можно было бы сказать, что Достоевский совместил гений Платона и Гегеля: восприняв от одного — созерцание идей, а от другого — их диалектическую динамику. И все это на христианской закваске — «доколе не вскисло все».

«Связь Достоевского с Платоном гораздо глубже, чем это может показаться на первый взгляд», — говорит А. З. Штейнберг — и совершенно прав. Идеализм, т. е. миросозерцание, утверждающее духовные мыслеобразы-идеи как мирообразующую и миродвижущую силу — есть единственное, вечное миросозерцание, вечно новое и постоянно обновляющееся. Это — «наука навеки», по выражению Фукидида.

Но и жгучие, как огонь, яркие, как солнце, мыслеобразы-идеи Достоевского — тоже «наука навеки». Устами творца «Братьев Карамазовых» Россия сказала миру свое новое вещее слово.



* «Несчастье христианства в том, что оно стало риторическим», — с горьким остроумием замечает В. В. Розанов.